

«В НЕЙ ЕСТЬ ДУША, В НЕЙ ЕСТЬ СВОБОДА...»

Жанр «Узелков на память» Татьяна Грибанова определила так: «поэма о природе». Однако это вовсе не такие привычные всем заметки фенолога. Читатель, открывший эти страницы, увидит не только серию зарисовок милой сердцу русского человеку природы средней полосы. Речь не о природе собственно, а о природе в человеческой душе. За внешним фоном повествования явственно звучат вопросы социально-философского порядка: кому наследовать землю предков, почему новые поколения равнодушны к судьбе малой родины, каким будет завтрашний день вековых деревень? Есть немало размышлений о вере и Боге, о смысле человеческой жизни. Природа выступает своеобразным зеркалом, смотрясь в которое, мы можем многое понять в самих себе.

Однако замечу сразу, что в итоге страницы не сложились в абстрактный философский трактат на примере выдуманного Средиземья или иной несуществующей страны. Нет, это проза вполне земная, более того, отражающая, описывающая совсем небольшой сельский островок, затерянный где-то между малыми притоками Оки западнее Кром и южнее Нарышкино в Орловской области. Зарисовки фиксируют для будущего читателя названия урочищ и перелесков, превращаются в своеобразную карту, по которой, возможно, много лет спустя кто-то

попытается понять, как именovali предки свои исконные владения. И потому написанное Татьяной Грибановой лично мне видится своеобразным ответом на вопрос, поставленный почти три десятка лет назад орловским литературоведом и писателем Владимиром Громовым. В очерке «Знать свою Россию» (октябрь 1989 года) он писал:

«Насильственное раскрестьянивание страны, прежде всего России, ударило не только по живым людям — миллионам землепашцев, но, может быть, еще более по самой земле-кормилице. Как преступно брошенная неблагодарными детьми в какой-нибудь захудалой «неперспективной» деревне — нестарая труженица мать, она стала «ничейной», и вследствие этого безымянной.

Язык чутко отразил чудовищную деформацию нашего сознания, утратившего вековые неразрывные связи с питательной средой, с первоосновой человеческого бытия — родною почвой. И постепенно исчезли, были вытравлены из нашей речи неповторимые собственные имена пахотных полей и сенокосных угодий, издревле овечьих легендами урочищ, милых сердцу перелесков, ложбинок, бугров, волновавших детское воображение буераков, оврагов, убежавших к горизонту большаков, травянистых проселков, пешеходных троп с их причудливыми развилками. Все было заброшено, забыто, обезличено».

Вспоминаются и тютчевские строки:

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Мастер прозы Татьяна Грибанова стремится услышать, открыть этот язык природы, очеловечить ее. Не случайно поэтому едва ли не на каждой странице присутствуют два-три, а то и больше местных названий. Более того, даже у сельских котов в зарисовках непременно не только прозвища, но и отчества. Курьез ли это? Нет, наверное, влияние стиля сказок и сказов.

Содержание «Узелков на память» — не просто словесная ткань, сотканная руками талантливого человека. Это результат большой работы обладателя определенной профессии, определенного жизненного опыта, а не только яркие воспоминания о далеком уже деревенском детстве. Да, без тех благословенных погожих дней в деревенской глумбинке ни в коем случае не сложилась бы эта проза. Но была бы она куда примитивнее, если бы не было много еще чего в жизни автора. Хочу кратко обозначить те моменты, которые, на мой взгляд, определили в итоге неповторимый стиль прозы Татьяны Грибановой. Это учеба на факультете иностранных языков (а значит, привитое умение вслушаться в звучание слова, точное «отмеривание» его значения, наполненности, сочетаемости с другими словами, понимание его особенности и красоты на фоне чужих наречий). Это годы работы учителем (в миниатюрах порой так и слышится доверительная побуждающая интонация, присущая учителям — с читателем Татьяна Грибанова нередко разговаривает как с пытливым учеником). Это зоркий, не упускающий деталей взгляд художника, народной мастерицы. А еще это голос поэта, автора нескольких книг стихов. Не забудем и о характере, натуре автора — человека яркого, беспокойного, любящего действовать и получать отклик от окружающих людей.

Соедините все это вместе и увидите, сколь много «самоцветных камней» оказалось в авторской творческой копилке Татьяны Грибановой. Оттого написанный ею текст так насыщен, так опрятен и богат многоцветьем, точной и живой «фотографией бытия». Он будет вышит золотыми и серебряными нитями — с любовью, в подарок любимому человеку. А потому не просто живописен, но и проникнут безыскусной исповедальностью. Вчитайтесь в эти строки: *«Все под Богом ходим... к чему же маниться? Подступает и моя осень. Беспечная память роняет яркие впечатления жизни, словно в палисадни-*

ке старинный дружжике клен осыпает на поникшие астры золотозвездную листву. Но иногда какой-нибудь предмет или запах внезапно возвращает меня к утерянному. Озаряется прошлое, вспыхивает светлой зарницей забытая картина далеких дней. Смутно, всего лишь на мгновение. Не успеваю как следует налюбоваться сладостным видением, и оно уже исчезает» («Зарницы»).

В творческой лаборатории автора немало инструментов, приемов и методов работы над текстом. Вряд ли мы со стороны сможем выявить и назвать абсолютно все. Но о некоторых, наверное, наиболее заметных, хотелось бы поговорить подробнее. В первую очередь обращает на себя внимание мощная, жизне-творящая энергия текста, которую создает умелое и щедрое использование глаголов (а также причастий, существительных, образованных от глаголов и т.д.). Автору чуждо простое созерцание. Приведу несколько примеров того, как использование глаголов помогает описанию, казалось бы, статичной природы:

«Где-то там, в поднебесье, в чуть видимой выси, большой беспокойной стаей торопились озабоченные овсянки. О чем-то спорили, суетились, судачили тонюсенькими голосками. И все нестройно, неладно, неупопад. Не прислушиваясь, перебивая друг дружку, словно где-то далеко-далеко переругивались, перетякивались торговки на шумном осеннем базаре» («Ястребок»).

«Только кракает, кракает, словно на погосте, перелетывая от усадьбы к усадьбе, прожорливое воронье, то отрясая последние яблоки в задичалых садах, то роняя с рябин у накренившихся ворот перезрелые кисти» («Гнездилово»).

«Согнул, плашмя распластал побуревшие от проливней сухобильники залютовавший ноябрьский сиверко. За пару суток до Казанской долину меж Кромой и хутором Игинским под завяз завалило снегами. Занесло, укрыло ровным-ровнехонько, уже и не видать

на луговине ни кротовых кочек, ни одной-разеединой ямочки. Сплошная кипенная гладь, нежданно-негаданно по краешку зари обронившаяся на чернотроп» («По перевозимку»).

А вот парадоксальное «нанизывание» глаголов при описании... бездействия:

«Весь вечер напролет, сидя за чаем, а потом, завернувшись в старую белокрайку, читая у полыхающей печки, слушала я, как кто-то шустрый и неутомный хозяйствовал, шебаршился на подворье: шуршал, пересыпая то соль, то сахар из мешка в мешок. Подумалось: “Авось, за ночь уляжется! Тот отрадн будет пройтись по перевозку!” Уснула, будто в сугроб провалилась» («Забытая зима»). «Отрада, нега и уют переполняли сердце, но в то же время ликующая, первозданная гладь за порогом манила, будоражила, не позволяла усидеть на месте» («Забытая зима»).

И, напротив, глагол становится главным выразителем чрезвычайного действия: «Обезумев, истошно ревела скотина, вырываясь наружу, крушила летние навесы и загороди, слышала она [Маня] и как, надрываясь, матюганились, орали друг на дружку мужики: ”Петро-о! Воротину-то, воротину ширше распахни! Ядрену вошь! Что ж ты молчишь да гляделками хлопаешь! Ай с перепугу языка лишился? Поишише-веливай! Залучай! Не пуцай к торфяным ямам! Захрястнут, трактором не вытянуть! Тамотка и окочурятся!”» («Под Ильин день»).

Автор, как и в предыдущем примере, смело использует глаголы для презентации читателю простонародного языка:

«Скажешь слово, а оно блямс серебряной ледышкой оземь, и вдрызг, и на сотню мельчайших осколочков. Хлопнешь в ладоши, топнешь валенком — ахнут скованные небывалой стынью, перемерзлые до самых сердцевин дерева — и хрясть стволы надвое» («Забытая зима»).

Еще один метод работы прозаика, весьма характерный для Татьяны Гри-

бановой, — авторская передача цветом цветовой гаммы, описание пути солнечных лучей. Приведу в пример два характерных отрывка:

«Спелыми ранетками закатились в травы бордовые шарки клеверов. В низине, у ручья, дробной душистой крупочкой просыпались темно-желтые таволги да кремовые валерианники, а с ними рядышком раскачиваются на длинных тонюсеньких стебелечках неказистые ятрышники, красно-коричневые вишенки кровохлебок да зефирно-розовые раковые шейки» («Акулинин луг»).

«Косые лучи падают сквозь золотую листву на темно-зеленую воду и отражаются от нее. Свет проникает в заросли лещины, поджигает, мечет краплавовые искры. Вспыхивает кадмиевыми, карминовыми россыпями. Солнце играет в рубиновых травгах бересклетов, падает в жухлые сны, пятнит и без того рябые мухоморы. С могучей липы ручьями стекает листва. Кажется, слышно ее дремотное журчание» («Крестины»).

А вот запоминающееся читателю сочетание использования глаголов и цветопередачи:

«И чудится мне, будто слышу я, как переговариваются, шушукуют, кружатся в последнем танце, роняясь в кружева позолоченной папороти, повисая на тончайших качелях серебристых паутин, пурпурные и сусальные листья. Как потихонечку остывает в деревьях старого урочища его кровь. Затеплиться ей суждено теперь лишь после Сретенья» («На опушке»).

Татьяна Грибанова своим пристальным писательским взглядом ненавязчиво подсказывает читателю: в окружающем мире цвет не случаен — он знак, который мы должны прочесть, понять, мы обязаны увидеть в природном цвете суть происходящего, смысл бытия. Именно небесный свет и приметные цвета призваны помочь нам найти душевное спокойствие и выразить себя: «В эту удивительную пору, когда природа неслучайно щедрa, когда так души-

сто шушит ковер из еще яркой, не жухлой, пропитанной солнцем листвы, хочется и самой, словно остепенившемуся сентябрьскому солнышку, растворяясь в светлой печали, расточать тихую ласку, проливать мягкий, согревающий свет» («Объяснение в любви»).

Еще одна особенность творчества Татьяны Грибановой — стремление сочетать локальное и масштабное, всемирное. Так, облако с горы Фавор по небу доплывает до ее родной деревеньки («Облака»), а понимание удобства и красоты домотканой одежды приходит к автору только в Италии (замечу, что зарисовка «Кировская посконь» — великолепный образец прекрасного, мастерски сделанного этнографического очерка). Большой масштаб писательского зрения вовсе не умаляет значения родной сторонки, свидетельством чему обращенные, насколько понимаю, к молодому читателю слова одного из героев, селянина Егора, пережившего чеченский плен и ставшего священником и художником: «Да... детство... Не понимали, в каких чудных местах родились, не замечали» («Крестины»).

Есть и немногие строки, о которых хотелось бы поговорить, поспорить, предложить что-то уточнить. Мне кажется, например, что в иных местах авторская логика дает сбой. Возьмем фразу: «*Наши пращурьы не сомневались в том, что душа умершего переселяется в этот необычный цветок*» («Неувядка»). Это утверждение выглядит наивным: в самом деле, кто имеет право обобщать и категорически утверждать, в чем сомневались, а в чем не сомневались наши многочисленные пращурьы?

Диссонансом звучат сентенции, собранные в миниатюру «Скука»: «*Вездебуная пронира-скука ухитряется пролезть во все уголки и каморки усадьбы*»; «*И без того небогатая разнообразием крестьянская жизнь становится еще беднее и бесцветнее*»; «*Жизнь кажется пустой, бесцветной и чужой. Куда ни кинься, не будет всплеска чувств и мыслей, одно линияое равно-*

души да скука. Молчат желания, мир погружается в немоту и глухоту. Ничего не дорого, не люблю. А без любви все вокруг, да и ты сам, становишься жалким». Наверное, автору стоило подобрать более точное определение душевному настрою (может быть, «уныние», «тоска», «грусть» и т.д.). Собственно скуке, по-моему, нет места в вечном движении бытия природы.

Однако включение подобной минорной миниатюры, на мой взгляд, вовсе не ошибка автора. Наоборот, на фоне множества восторгов природой вдумчивому читателю, наверное, не хватает некоей горчинки в меду, отражения и других сторон жизни: озадачивающих, противоречивых, драматических, а то и трагических. Я обратил внимание на то, что герои рассказов — в основном старики и малые дети. А каково живется нашему современнику, человеку средних лет в русской деревне начала XXI века? Вопрос, увы, не риторический. Конечно, критик не вправе требовать от писателя «дописывания» тех или иных страниц. Но ведь никто не оспорит и знаменитую фразу Андрея Платонова «А без меня народ неполный».

Но, прямо скажем, не такие моменты определяют общую ценность «Узелков...». В целом хочется поздравить автора с рождением очень искреннего, полного любви и светлой надежды литературного произведения. Благодаря труду над словом, удалось передать пронзительную красоту и ценность бытия. И это главное. Зарисовки стали в один созвучный ряд со стихами Афанасия Фета:

Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет, уходя.

Напомню строки из «Узелков на память»: «Душа не может сжиться с каждодневной жестокостью и серостью земного обиталища. Манит ее родной дом — бесконечно прекрасные и извечно юные небесные чертоги». Вот так жить и держаться подальше от каждодневной жестокости и серости эти страницы, надеюсь, помогут и душам читателей.

Алексей КОНДРАТЕНКО,
доктор филологических наук

КРЕСТИНЫ

(*Быль*)

Город моросит дождем переспелой листвы. Из-за набухшей мги она кажется бархатно-пушистой. Зная, что не люблю дорог, подруга заботливо, словно капризного ребенка, усаживает меня к автобусному окошку.

— Чтоб не ворчала. Налюбуешься, вдруг что-нибудь напишешь, — объявляет она ободряюще.

Выскочив за окраины, автобус трусит навстречу багряным пожарам, мечущимся от перелеска к перелеску. Осинки, еще дремлющие в расцветном безмолвии, пугаются кашля мотора и роняют медные мониста в подернутый паутиной мордовник. Березняк, бредущий вдоль дороги, словно подгулявший богатый купчина, сыплет щедрой рукой сусальное золото. Червонцы раскатываются вдоль проселка, бьются в лобовое стекло.

Автобус ныряет в расплескавшуюся осень. Я забываю о времени, о подруге Надежде, о том, где я и куда мчусь сквозь нескончаемый листопад. Боюсь оторвать взгляд от окна, стараюсь не упустить самое важное. Открываю для себя эту пору заново, словно листаю удивительные страницы древнего, редкостного фолианта.

Как до сих пор не замечала изысканности сентябрьских далей? Почему так не трогала меня величественная голубизна бездонных небес? А этот ежик ржаных полей! Так и хочется погладить!

Играя цветом, осень не стесняется круто замешивать краски, пишет пастозно, не жалея материалов. Удивляет самыми невероятными оттенками. Сочетает несочетаемое, рискует и, словно в лучшей картинной галерее, потрясает своими шедеврами.

— Райцентр. Выйдем, разомнемся, — Надежда отрывает меня от нахлынувших размышлений, возвращает в поселковый ПАЗик.

Назад, на свои места, пробраться не так-то просто. Тетки с корзинками и сумарями наперевес: базарный день на исходе, пора по домам.

— Ну что, иваси, набились? — водитель выходит из кабины и, подтолкнув крайнего пассажира в салон, закрывает дверь вручную. — Полный комплект!

Но бабки жужжат, стрекочут, словно кузнечики в покосах.

— Погоди, милай! Батюшку, батюшку нашего прихвати!

Выглядываю в окно. К автобусу торопится мужчина. О таких говорят — «сельский интеллигент». Костюм, рубашка в полосочку — ничего особенного. Лишь окладистая, подернутая серебром борода да длинный волос подсказывают — наверно, священник. Высок ростом, статен, глаза приветливые.

Надежда, потянувшись к окну, ойкает и отстраняется.

Автобус фырчит, поднатуживается, распахивает двери. У батюшки большая поклажа. Через водительскую дверцу втаскивают и укладывают на капот перевязанную шпагатом детскую кроватку.

В первых рядах теснятся. Бойкий дед в фуфайке с ценником на боку и в шапке с наклейкой «Nike» усаживает на колени молодуху: мол, кады ищо придется к девке прижаться?

Местечко у двери высвобождается, батюшка втискивается в автобус. Бабки свирчат, благодарят шофера.

Проход заставлен баулами и кошелками. Народ рассаживается прямо на них и, подковыривая модного деда, затихает под шамканье престарелого ПАЗика.

Батюшка стоит на ступеньке у двери и смотрит вдаль, в осень. На минутку оборачивается: «Храни вас Господь, люди добрые! Спасибо, что подождали!»

— Егорка Степанов! — шепчет пораженная Надежда, — сосед мой. Да и друг закадычный. Десять лет буквы знакомые за одной партой искали... За стенгазету с ним отвечали. Я писала, он рисовал. Потом я — на литфак, он — в Москву. Художником стать мечтал... Разлетелись... Говорили, пропал. Мать сразу слегла, не пережила, а Петрович лет пять покрепился — и за ней следом. Один он у них... Надо же! Священник! Поверить не могу... Знаешь, мы с ним за стрижиными яичками на кручу лазали, мальков хоботной плетухой по лозняку вылавливали. Записки мне на промокашках писал, позировать просил, поступать готовился. А я, дура, насмотрелась журналов, стеснялась. Думала, вон каких красавиц рисуют-фотографируют, а я что? Нос — курнос, веснушки, что курочка-пеструшка.

Надежда окунается в прошлое. Школьные проказы, турпоходы, вечера...

— Парень что надо! Сам не обидит, но коли тронут — постоит и за себя, и за других.

— Что могло так изменить его судьбу? Мечтал стать художником, и вдруг — батюшка, — недоумеваю я.

— Чего не знаю, того не знаю. В нашей деревне и церкви-то давным-давно нет, — удивляется Надя. — Правда, как родителей перевезла к себе, редко бываю. Тетка Лиза за хатой присматривает.

Нашептавшись, Надежда придремывает.

Незаметно сентябрьский день соскальзывает в сливовые сумерки. Автобус рыкает напоследок, выскакивает из очередного ухаба и замолкает, уткнувшись в конечную станцию. Пассажиры оживляются, вываливаются в подоспешную непрощупную темь. Широко разбрызганные огоньки и редкое тьяквянье намекают: жильё рядом.

— Тетка Лизка небось грубку протопила, нас дожидается. Я позвонила, что приедем, — подбадривает Надежда.

У ворот на лавочке и впрямь сидит старушка. Высмотрев нас, встает, всплескивает руками:

— Самовар простыл. Не дождуся вас.

Сенцы-летники. Хата — на две половины... Сидим в уютной кухне, чаевничаем. Тетка, смачно прихлебывая, угощается городскими вкусностями. За куцей осенний вечер успевает перекудахтать Надежде все события, которые та упустила за пять лет.

— Мóлодежи — по пальцам счастье: учителька, агроном ды витинар. А так — рухлядь. Притрухаваем помаленьку.

— А Егор Степанов? — вспоминает Надя.

— Об ем сказ особай... Долгай. Завтри доложу. Умаяласи нынче с вами, девки, пойду-ка до хаты. Поддувала надоть прикрыть, вьюшку задвинуть, прогорело небось, повывудить.

— Проводить, тетя Лиз? — встрепенается подруга.

— От каво? Я тута на оцущь кажный уголок знаю. Руку от вашей хаты протяну, а уж вот он и мой крылец. Ложитесь, девоньки, поране, коли хотите опенок набирать. Выходной. Завтри с утречка городские валом повалють и с автобуса, и машинами. А мы наперед обстриаем. Как забрежжить, будну вас в окошко.

И глаз сомкнуть не успели, а тетка — тут как тут.

— Я вам плетухи ле-огонькие прихватила. Васька Спиридонов знатные сработал, что пушинки. Провиант собрали?

Надежда шинкует бутерброды. Накинув материнскую плюшку, нарываает для меня в сундуке харпалек, какие-то ботики-полсапожки. И мы, словно гуси к югам, тянемся малым клинушкой на взлобок, в дубнячок, едва проступающий сквозь крахмалистый туман. Впереди по центру вожаком стаи, конечно, тетка Лизка.

...Почти вековой старушкин нюх не мог подкачать, и к полудню корзинки отяжелевают. «Закоштовавшись», режем только шляпки, оставляя ножки торчать на пнях рыжеватыми гвоздиками. Тетка хихикает: «Приежжай глянуть, а мы уж тут побывали. Одне палочки оставили».

Грибы слеживаются, утрясаются, и неподъемные плетушки вынуждают присесть на закрайке.

— Хлипкия вы, городския, вишь, как заморились-умочалились, — подсмеивается старушка.

— А ты, тетя Лиз, будто конек-горбунок, года к земле клонят, а ты все по горам, по долам скачешь.

— Дык природь нашенская швыдкая, вся как ни на есть. Говорила Варваре, мамке твоей, все ить от землицы, не срываиси, на кой ляд тебе тратувары энти? Ишо б тут, на вольном духу-то поскрышела. Я Тимке своему питит отписала, чтоб зазря не манил боли.

Из-под крушинника выскакивает белесая коротконогая псинка — и напрямиком к нашей скатерке.

— Ишь ты! Учужала рódная! Косточки ей сберите, пушай полакомит-ся. Батюшки нашего собачонка, отца Георгия.

Вспомнив теткино обещание, Надежда собирается было попытать старушку о друге детства, но, раздвинув кусты орешника, на полянку выходит сам Егор Степанов.

— Присаживайтесь к нашему шалашу, батюшка, угощайтесь, чем Бог послал, — суетится старушка.

— Мир вам, люди добрые! — отец Георгий кивает Надежде. — Ну, вот и свиделись, Найденка. Давно прибыла?

— Здравствуй, Егор! Вчера вместе ехали.

— В толчее не приметил. Надолго?

— Недельку-другую побегаем за теть Лизой по лесам, — Надя умоляюще смотрит на меня, — все красоты наши подруге покажу, тогда и назад.

— Не меньше года понадобится. Что тебе говорить, сама знаешь.

— А ты что ж без корзинки?

— Мы с Жулькой писать ходили в Марьино урочище, — Егор кивает на этюдник. — Помнишь родничок у трехгорбого валуна?

— Как не помнить? За ежевикой, за боровиками бегали, попить сворачивали. Ты еще Милке лягушку в бидон под крышку посадил. Она открыла, а та: «Ква-а!»

— Да... детство... Не понимали, в каких чудных местах родились, не замечали, — Егор протягивает небольшой этюд: бор, горбатый валун. Косые лучи падают сквозь золотую листву на темно-зеленую воду и отражаются от нее. Свет проникает в заросли лещины, поджигает, мечет крап-лаковые искры. Вспыхивает кадмиевыми, карминными россыпями. Солнце играет в рубиновых серьгах бересклетов, падает в жухлые травы, пятнит и без того рябые мухоморы. С могучей липы ручьями стекает листва. Кажется, слышно ее дремотное журчание.

Заметив мое восхищение, отец Георгий улыбается.

— Нравится? Тогда примите в память о наших с Найденной местах.

— Спасибо, но мне нечем Вас отблагодарить.

— Приходите завтра в храм. На крестины. Сын у меня родился. Придете — подарок сделаете.

Егор посмотрел на Надежду.

— Знаю, о многом хочешь спросить. Что ж стесняешься?

— Неожиданно как-то... Ты! И вдруг — священник!

— Я раньше и сам бы не поверил. Помнишь, как любил живопись?

— Что же Вам помешало? Надя рассказывала, Вы поступили в Суриковский, — не выдерживаю я.

— Да... Посчастливилось... С первого захода... Четвертый курс заканчивал. В пейзажную мастерскую пошел... Приехал на майские домой. Неделю с этюдником не расставался. Все пригорки-задворки излазал.

Уезжал, мама будто чуяла, что не свидимся. Долго смотрела вслед... Оглянусь — стоит у калитки, снова оглянусь — еще не ушла. И все кончиком платка утирается. Так и осталась в памяти — в полушалке сморо-

динкой, прикорнула к калитке, стоит, меня высматривает... Царство Небесное матушке.

— Царство Небесное Анастасии Петровне. Любила тебя взახлеб, на-смотреться не могла, — вздыхает Надя.

— Уезжал, билетов на поезд не оказалось... Перед самым отправлением подбегает девушка, сдает. Я и перекупил. Видать, суждено было в тот поезд сесть, рукою Божьей начертано. Женщине с мальцом уступил нижнее место, забрался наверх. Подсели два кавказца... Почти уснул, чувствую: тормозит кто-то: «Слушай, друг, уважь, не обидь, посиди с нами. Отведай вина, попробуй фруктов. Все свое, родные из аула прислали...» Как отказать? Ребята — ровесники мои... Долго сидели. Попутчики шутили, интересовались, нет ли сестры. Развернемся, мол, засватаем...

Утра я не помню... Ничего не помню... Очнулся — в яме. Лестница наверх, решетка. В углу на охапке соломы сержантик. Одного рукава у гимнастерки нет, оторвал, другую, повыше локтя, перевязал. Лицо в ссадинах, кровоподтеках.

— Ну что, давай знакомиться. Виктор, — с трудом проговорил он, сплюнув сукровицу.

Передних зубов не хватало, кровоточили десны.

— Егор Степанов, — язык не слушался, словно чужой, — где это мы?

— Не понимаешь? Высоко в горах, в чеченском ауле. Тебя вчера швырнули. Здорово накачали, думал, не очухаешься, признаков жизни не подавал. Кто будешь?

— Студент. Художник.

— Наверно, спортсмен. Крепкий. На это и клюнули.

— Харэ болтать! Новенький, выходи! Хозяин смотрины устраивает, — гаркнул сверху верзила и открыл замок.

Кое-как поднялся. Виктор пособил, насколько мог. Штормило и выворачивало наизнанку.

Горы... Скалы и ущелья... Небольшой аул. Вышка, на ней автоматчик. Куча вооруженных бородачей у крыльца двухэтажного каменного дома. Гыркают по-своему.

Белобрысый, охранявший яму, подтолкнул к крыльцу. Из дома показался хозяин. Все притихли. Главарь поманил меня, похлопал по плечу.

— Здоровяк! Будешь карашо работать — будешь сыт, а главное — жив! — Послышался гогот. — Увести! — приказал охраннику.

...Ночь напролет жарились шашлыки, доносилось пьяное бормотание подгулявших боевиков.

— Жируют сволочи, — негодовал Виктор. — Сынок хозяйский с дружкой с леченья вернулись, празднуют. Слышал, прямо в центре России, где-то на Орловщине, лазарет устроили, гады.

Едва забрезжило, вывели на работу. В углу двора разметили яму три на три, сунули лопаты.

— Копать!

— Еще рабов пригонят, — сообразил сержант.

Мимо, сверкнув глазами, шмыгнула девчонка лет пятнадцати.

— Что, понравилась? Может, засватаешь сестренку? Жаль, что у тебя нет, а то бы мы с Рамзаном съездили, познакомились, — передо мной стоял один из попугчиков. Тот, с кем совсем недавно в поезде за откидным столиком пили вино. Тот, кто еще вчера называл меня братом и произносил тост за мое здоровье...

Егор умоляет, и мы понимаем: он все еще там, в горах, под прицелом автоматчика копает яму-тюрьму для краденых «баранов».

Потрясенные рассказом, не можем проронить и слова. Кажется, даже лес затих. Листья падают беззвучно, боясь невольно потревожить затянувшееся молчание.

Тишину нарушает птичий крик. Над полем, примыкающим к опушке, выпархивают из леса и взмывают под облака журавли. А потом еще и еще, и еще...

Трубиты вожак, созывая строиться в привычный порядок. Сотни журавлей! Птицы выстраиваются в клин, курлычут и парят в безбрежном просторе.

— Тренируются, готовятся к отлету, — замечает Егор. — Наша птица, родная... Трепетная и нежная. Летят журавли, переговариваются, а мне чудится: девчата песню на деревне выводят... А в горах — орлы. Высоко-высоко. Часами парят, добычу высматривают, потом — камнем вниз. Хищники...

— Господи, Егорушка, как же ты высвободился-то? — осмеливается, наконец, Надежда.

— Через неделю рана у сержанта загноилась. Лечить никто не собирався. Решили бежать. Докапывали яму и тайком лаз за дувал вывели. Выждали, когда на дворе остались только женщины, и рванули.

К вечеру второго дня у Виктора начался жар. Простреленная рука почернела, думаю, началась гангрена. Парень совсем ослаб. Взвалив сержанта на плечи, я шел направо, спускался все ниже, в долину. Все равно куда, лишь бы подальше от адского аула!

Егор опять задумался.

— А дальше, дальше-то что? — не выдерживаю я.

— Потом произошло самое страшное... То, что не смогу забыть, куда жив, — продолжил рассказчик. — Нас выследили... Далеко с такой тяжестью на плечах я не смог уйти. Виктор был совсем плох.

— Не жилец, — заявил главарь. — В расход!

Полуживого сержанта швырнули посередине двора. Прикатили чурбан, на котором рубили баранину. Вывели во двор меня и двух пленных. Поставили рядом.

— Чтоб вам, шакалам, неповадно было! — положив руку Виктора на пень, по очереди отрубили пальцы. Откинув культу, то же проделали со второй рукой.

— Матерь Божья! — простонала тетка Лиза.

— Сержант потерял сознание. Рамзан, тот, который хотел посвататься к русской девушке, зашел ему за спину, взял за волосы и перерезал горло... Никогда раньше не думал о Боге. Но в ту страшную ночь я молился... Не знал, как это делается. Слова молитвы приходили сами по себе, словно кто-то свыше подсказывал... Я просил Господа принять несчастную Витину душу, умолял сжалиться над моей бедной мамой — оставить ее единственного сына в живых. Той же ночью поклялся Богу: выберусь — всю оставшуюся жизнь посвящу Ему.

— Видать, Господь снизошел до твоих молитв, — шепчет чуть слышно Надежда.

— Еще три года и семь месяцев я таскал камни, рыл новые ямы, чистил хлев, выполнял самую черную работу... Был рабом... Однажды вечером, когда пригнал с пастбища овец, не застал в ауле ни одного боевика. Ушли. Кто-то их предупредил. Утром вступили наши...

Потом я поехал в Саратов. У Виктора там мама и две сестренки. Не поверите, не мог подняться на второй этаж. Ноги, словно ватные, не шли, подкашивались. Никогда не забуду минуты, превратившей сорокалетнюю женщину в глубокую старуху. Тогда я еще не знал, что уже никогда не увижу свою маму...

Дальше был Питер. Семинария с отличием. Приход выбрал сам. Попросился на родину.

— Так церкви-то давно нет!

— Отбилась ты, Надежда, от нашенских краев, ничегошеньки не знаешь. Отец Георгий из нежилых дворов храм возвел. На горушке, у погоста, на фундаменте, что от взорванной церкви остался, — спешит прояснить тетка.

— Ну, храм надо видеть... о нем не расскажешь, — заметил батюшка. — Завтра первые крестины в нашем приходе. Порадуйтесь с нами, приходите.

— Обязательно! — восклицаем мы с подругой в один голос.

Отец Георгий встает, кличет Жульку и спешит к вечерней службе.

Уходит, а мы допоздна сидим на опушке и слушаем плач журавлей, все никак не можем отойти от батюшкиного рассказа.

Наутро еще издали замечаем, как с окрестных деревень к церквушке, что возвышается за усадьбой Егоровых родителей, стекается люд.

За оградой — бревна, тес, бочки с белилами.

— Топором вместе с мужиками махал. Теперя стены сам расписывает, — одобрительно шепчутся прихожане.

Храм небольшой, по-домашнему уютный. Может, потому что из жилых хат. Беленые стены размечены углем. Работа в самом начале, но уже прописаны лики Евангелистов. У алтаря две иконы в потемневших окладах — Спаса и Божьей Матери.

— Церкву рушили, Спиридоновна дома сховала, — поясняет тетка Лиза.

Справа от царских врат — Святая Троица.

— Матушки моей иконка. Решила: здесь ей надоть быть. Мне все одно — не нынчи-завтри перед Господом предстану. Нехай отцу Георгию пособлять в ево молитвах за нас, грешных, — шепчет нам тетка Лиза и идет ставить свечки: за упокой — почившим, за здравие — всем живым.

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ

Вечером позвонил отец: неможется маме. Зная его родительскую осторожность, я забеспокоилась — сердце мое защемило, встревожилось не на шутку, решила выехать к ним утром, первым же автобусом.

Ночь прошла в беспокойстве, глаз я уже сомкнуть не смогла. О чем только не передумалось за эти, растянувшиеся в целую вечность, часы. Картинки детства и юности выплывали из растревоженной памяти. А в них везде и всюду рядом со мной мамыны ласковые небесные глаза, ее, дышащие смородиновым листом, вишневым вареньем и еще чем-то таким родным, не позволяющим спутать мамин аромат ни с чьим иным, руки.

На другой день в пути, долгом и метельном, усталость взяла свое, и мне как продолжение ночи воспоминаний привиделся сон. А может, и не сон это был вовсе, слишком уж явственными и яркими казались видения.

И почудилось, будто мама снова встала на ноги и первое, что сдела-

ла — отправилась в обход по дому, посмотреть, уцелели ли за время ее хвори обожаемые ею бальзамины и гераньки. Как оказалось, по приезде, к утру болезнь на время отпустила, затаилась, наверно, оттого и мама при-
снилась мне на ногах, радостной и веселой.

Цветы она любила без памяти... Дело свое знала, это у нее не отнять... И сейчас все еще видится подоконник в родительском доме, заставленный горшками и горшочками со всевозможными диковинными растениями.

И я, давно обустроив свой дом, свой мир, не смогла обойтись без привычной, окружающей меня с малых лет красоты. Особенно полюбились разноцветные узумбарские фиалки. Цветы эти отдыхают всего лишь месяц в году, а в остальное время буйствуют нескончаемыми, сменяющими друг друга волнами.

У меня прижилось множество сортов и оттенков этого чуда. Слово пестрым ковром выстелены подоконники, и краски на нем самые разные: от белых и нежно-розовых, словно атласные крылышки мотыльков, до бархатных, темно-фиолетовых и лиловых, точно крошечные шлейфы придворных дам. Есть среди них и полосатые, и пятнистые.

А еще развела я фиалки как постоянное напоминание о моей дочери. Улетела Анята из родительского гнезда, а цветочки эти, фиалки (в народе — «Анютины глазки»), смотрят на меня ее глазами, напоминают мне о ней. Разговариваю и ухаживаю за ними, будто общаюсь с дочерью. И они платят мне благодарностью — непрерывным великолепным цветением.

Как-то принесла я домой листок фиалки необычайной, удивительной расцветки. Определила новичка по всем правилам на довольствие, стала дожидаться, когда зародится из него новая жизнь. И он не заставил себя дожидаться — сначала объявились белесые корешки, а через пару дней стал просматриваться крошечный кустик фиалки. С каждым днем он мужал и креп.

Наконец, настало время перенести его в горшок. Старый листок, который вскормил своими соками новые, молодые листья, казалось, пожух, тряпица тряпицей. Недолго думая, отщипнула я его, неказистого, а юный, нежно-зеленый кустик посадила в землю.

Прошло какое-то время, цветок мой ни с того ни с сего начал чахнуть и, в конце концов, вовсе захирел. «Что за беда с ним приключилась?» — ломала я себе голову. И вдруг сообразила! Листок-то старый материнским был, а я его до срока оторвала. Лишила слабое дитя материнской поддержки. Молодой кустик, будто младенец, и кормился, и поился его молоком. А тот отдавал ему всего себя, до последней капли своего живительного сока. Как я сразу не догадалась? Зачем нарушила давно устоявшийся закон природы?

Всею свое время... Видать, слишком молод был еще цветок, не мог жить самостоятельно, без материнской опеки. Настал бы черед, ушел бы старый листок из жизни незаметно, не нанеся вреда своему ребенку.

Мать, она и есть — мать, что тут скажешь?.. Да и о природе — попробуй, поспорь после этого, что она бесчувственная, неживая.

Я подъезжала к родным местам. Искромсанная волнениями душа моя держалась быстрее увидеть маму, поцеловать ее, завериться, что она жива... подержать в руках ее изболевшие, но самые родные и дорогие руки.

Правда ли, нет ли, только бабушка Наталья, отцова мать, сказывала — а как ей не поверить? — будто эту ракиту на середине Мишкиной горы, вблизи хуторского родника, посадил еще году эдак в тридцать третьем мой дед Фрол. А коли так, значит, ей уже ни много ни мало — под сотню годочков!

А дело случилось так... Началось все с того... Приехал в тот год дед мой с заработков, с Балхашстроя, к Пасхе на побывку. И вздумалось ему, видно, кроме всего прочего, обустроить заилвшийся родничок. Почистил, углубил он его сердцевину, обложил невысоким дубовым срубом. А чтобы легче было подступиться к роднику в любую непогоду, нарубил он где-то ракитовых кольев и, оставив небольшой, чтобы можно было развернуться с коромыслом, вход, воткнул те черенки вплотную вокруг ключа. Как говорится, в тесноте, да не в обиде, ракитник тот, конечно, у воды принялся мигом, зазеленел, заветвился. Но все-то высадкам тем вольного духу не доставало, все-то они застили своими кронами друг дружке Божий свет. Так и мыкались, бедные, длиннющие, тощие, год за годом.

А вот один из ракитовых колышков дед то ли по случайности, перекуривая, воткнул на полгоре, то ли нарочно, с каким дальним умыслом. Не берусь сказать, как там было все на самом деле.

Знаю только, что спустя годы вымахало у тропинки на спуске к роднику из того хлипенького череночка дерево в три обхвата. Жизнь не одного поколения хуторян просуетилась на виду у этой приметной ракитки.

Идет мужик за водой, не преминет под ней остановиться. Свернет не спеша сигарку или выбьет из пачки «беломорину», оглядится, что, где да как. Не его ли табун прямоком с омутка спровадился в Меркулихин сад? Не Витька ли, его сынок, дерет на бахче у Колдучихи огуречные зелепупки?

Подымается на гору баба, сбросит с плеча плетушку, битком набитую переполосканным бельем, притулится в густой тени передохнуть, поостыть после жаркой колотьбы на омутке, тут же и пральник меж ракитовых веток в своем потайном местечке до следующей постирушки припрятет.

Для ребятни же под сенью этой ракитки вообще был двор родной. С перекинутыми через выгнутый сук ременными качелями, с вырытыми в глинистых боках Мишкиной горы ходами-лазами, с птичьими норками, в которых кому ж не хотелось нащупать пару-тройку дробненьких стрижиных яичек?

Куда бы кто ни собрался идти, сбор назначали у этой ракитки. Помнится, бывало, возвращаемся с бабушкой из Гороней или Закамней, переберемся через Желтый прене непременно по камушкам, обустроимся в тенечке, рассортируем грибы-цветы-ягоды, заодно и передохнем, и — на гору, до хаты.

Справа от дерева — большой глинистый обрыв. Для всяческих хозяйских нужд по налаженному из пяти-шести сплоченных бревен мосту, а то и запросто — вброд, приезжали к нему за глиной мужики из окрестных деревень. Пока работали, наполняя глиной забранную тесом телегу, лошадку определяли опять же в тенек под раскидистую ракитовую крону. Под ней, громадной, не страшны ни палящий зной, ни проливенный дождь. А наморившись, тут же рассаживались перекусить да передремнуть.

Оно, конечно, дело прошлое, но... вот, поди ж ты, не забылось! Как запомнить-то? Считаю, все детство мое волчком прокрутилось вокруг да около этой дедовой ракички. Помнила она, думается мне, и мою юность, и первую, пронзительную любовь. Как дожидалась я впервые, казалось мне тогда, по уши влюбленная, парня из соседнего села, как до последних петухов не могли мы с ним распрощаться, как, закутавшись в пуховую шаль, выходила на росную гору покликать меня домой так и не научившаяся засыпать до моего возвращения мама.

Долго служила хутору ракичка деда Фрола. Со временем сами по себе притопали в ее тенечек из лесу грибы-подтопольники, расположились не абы как — необорным табором. Опять деревенским прибыток.

Но у всего в этом мире есть начало и есть неминуемый конец. Деревья — не исключение, к тому же, ракичка — не такой долгожитель, как, к примеру, дуб. В гнилушку превратился ее ствол, зимние ветродуи развалили ее во все стороны на множество частей, до земли склонив ветви на взгорье.

«Ну вот, — проходя мимо, думали все, — подошел смертный час Фроловой ракичке. Спасибочки ей, как не вспомнить родную добром?»

И решили мужики: как только пообсохнет подгорье, сгуртоваться миром и распилить порушенную ракичку: сучья — на дрова, а гнилушки — они тоже сгодятся — пчеловоды разберут их на пасеки для своих дымарей. Договориться-то договорились, да за хлопотами разговор тот затаялся под стол и подзабылся.

Справили по Фроловой раките поминки, оплакали. Но ранней весной, помнится, еще и не весь снег-то сошел, еще по оврагам да лощинам шумели ручьи, шла я как-то на родник. Слышу: что за диво? Гул какой-то стоит. Даже ведерки с коромыслом скинула. Пригляделась, а разваленные в стороны ракичьи сучья не только озеленились, к моей великой радости — зацвели! Видать, прижились, пустили корни молодые ракичьи сучки. От ракички-матери народилась целая ракичья роща. И снуют, снуют, и радуются ее цвету вездесущие пчелы!

СКУКА

Выползут последние осенние радости-зарницы, и навалится такая скукота, хоть волком вой! Откуда она только берется, эта отравка, разъедающая час за часом октябрьские дни, прокисшие, словно куча забродившей падалицы-антоновки посередь обмершего сада.

Вездесущая проныра-скука ухитряется пролезть во все уголки и каморки усадьбы. И негде от нее укрыться. В хате кухонные ходики отчего-то вдруг сбиваются с непрерывного галопа и переходят на прямо противоположный аллюр, невыносимый ни для души, ни для сердца еле приметный шаг. На засквозившем крыльце, обнажившемся от сгоревшей за бабье лето листьями дикого винограда, старый беспамятный рукомойник напрочь забывает свое утреннее взбалмошное урчание. В сарае, обмишурившись, не распознав давно промелькнувшего дня, чуть слышно, с заспанной хрипотой кококает побудку Горлач да тут же, опомнившись, и поперхивается.

И без того небогатая разнообразием крестьянская жизнь становится еще беднее и бесцветнее. Бродишь ли из угла в угол по хате, выйдешь ли за околицу, забредешь ли в отчужденный лес — ничто не радует, не привлекает. Оглянешься вокруг — повсюду только затихшее сонное царство

с погашенными деревьями и травмами. Жизнь кажется пустой, бесцветной и чужой. Куда ни кинься, не будет всплеска чувств и мыслей, одно линейное равнодушие да скука. Молчат желания, мир погружается в немоту и глухоту. Ничего не дорого, не любо. А без любви все вокруг, да и ты сам, становится жалким.

Проходит не один день в тоске и раздумьях, прежде чем доберешься до простых истин: а ведь это ты сам захандрил, заскучал, обленился действовать, мыслить и желать. Твое угнетенное состояние искажает вечно прекрасный Божий мир. Надо только, как птице Феникс, очнуться, встрепенуться, отряхнуть с себя навалившуюся октябрьскую скучищу, и тут же почувешь, что мир, как и прежде, чуден, ярок, многоголосен и открыт навстречу твоим надеждам. Вот только бы пересилить эту проходящую при твоём желании томь. И чем скорее справишься с ней, тем скорее возродишься, тем скорее услышит душа, рассмотрят очи сердца бесценность в любом состоянии природы. Познаешь вдруг, что и скука Всевышним дана не напрасно, — для отдохновения, для передышки. Чтобы спустя недели сильнее обострилось обоняние, острее, каждой клеточкой, зачуял окружающий мир, смог рассмотреть в серых осенних буднях свои, необычайные, невиданные в другое время года звуки и краски.

БУРАН

Еще в начале сентября дед Нехай выпросил себе у лесничего в дальнем бору на топлю сухостоя. Думал, за бабье лето дело соспорится, но, видать, не тот уже стал дед. А бывало-то, торф на болоте копают, в одиночку выдергивал из трясины захрястнувшую телегу вместе с конем.

Ну, так вот, проваландался старик с порубкой ни много ни мало до самого Покровá. Заготовил, конечно, изрядно, до травки с избытком хватит. Сложил бревнышко к бревнышку — Нехай еще тот аккуратист! — а домой перевезти так и не успел — последнюю неделю, как назло, то ливанет дождь со снегом, то обрушится снег с дождем. А в лесу, шутка ли дело, — день-деньской под такой мокренью? И расхворался, рассопливился дед.

Провалаялся в лихорадке аж до ноябрьских. Ниловна его своими леченьями вконец измучила. Разотрет, бывало, бараньим жиром, напоит липово-мятным взваром, напаялит овчинный тулуп да валенки, с печки все подстилки сдернет и закатит деда на жаровые кирпичи. Сама ж угнездится с вязаньем на телятнике и стережет: ни за какие коврижки, хоть плачь Нехай, хоть матюганься, пока не пропотеет, не выпустит.

Но сколько ж в безделье прохладжаться? Дед встал на ноги, как раз школьников на осенние каникулы распустили. А тут радость старикам нечаянная подвалила — привезла к ним дочка из города на пригляд (сама-то всё в работе) младшенького Ванечку, шестиклассника.

Пока дед чихал да кашлял, упали снега, без Нехая по первопутку уж и проселок пообкатали. Погоды стояли задушевные — мягкие. Легонький морозец, солнечно, тихо.

— В санях бы прокатиться! — умасливал деда внук.

— Чего ж попусту коня-то гонять? Завтра за дровами в Калинов бор поеду, собирай, коли не боишься замерзнуть.

Дни выигралась такие ласковые, что даже Ниловна не отказала. Оде-

ла-обула внука, словно в экспедицию на Северный полюс. И провизии собрала корзинку под завяз — на Маланьину свадьбу. Так, знамо дело, на вольном духу есть еще как хочется!

— А и то правда, поезжай с дедом, унучик, и ты развейся, и деду весельше будет. Да я ему, бедолажному, теперь и самого себя не доверяю. Пригляди-ка там за им, Ванечка, чтоб не расхлебенивался. А то жаркий, тулуп-то скинет и станет грузить враздежку. Возись с ним потом до Роштва. Ай мне заняться больше нечем? — ласково ворчала старушка, провозая своих мужиков «в работы». — Да калинки, калинки, покуль дед управляться станет, пощипи, милай. Тамотка ее, в Калиновом-то бору, завсегда видимо-невидимо. Теперь ее морозец поприжал, вкуснюща-я-а! Пирогов вам завтра наварнакаю, киселю настряпаю.

Конечно, все бы так и случилось: и уплетал бы Ванюшка бабушкины румяные, с золотистой хрустящей корочкой пироги, и шлепались бы в чашку, выплескиваясь из кубана вместе с киселем, кисло-сладкие ягодыны, если бы внезапно — и какой лихоманец ее только принес? — на обратном пути (дед с внуком уже и в лозняки Егорьевой лоцины спустились) нежданно-негаданно выкатилась из-за хутора Степного и поползла над заброшенным полем, цепляясь брюхом за молодой самосевный сосеник, огромная, в полнеба, снеговая тучица.

Белое чудовище кучилось, продвигалось своей могучей тушей на удивление стремительно. Так, что ни Нехай, ни Воронок уже, как бы они ни хотели, не осилили выскочить из-под нее в ускользящую спасительную полосу Божьего света.

Громадный снежный зверь метнулся в последнем прыжке к горизонту и поглотил вечернюю зарю, бившуюся изломанными окровавленными крылами где-то в чащобинах Дмитровского леса.

И ахнула кромешная ночь, и ударил со всей своей неистовой яростью беспросветный буран. Сорвались, озверело налетели, словно ненасытные цепные псы, чистопольные ветрици. Осатанели, рвали зубами раздольные воздушы, свирепели и визжали, в белой кипящей мгле вздымали до небес рыхлые неслежалые снега.

Продвинувшись версты две, не боле, сбившись с дороги, Воронок встал как вкопанный, захрапел, заупирался. Вглядывайся, не глядывайся — не рассмотреть ни малейших ориентиров — ни лесочка, ни кусточка. В диком, адовом котле небо смешалось с землею. И спереди, и сзади, да куда ни кинься, кипела, клокотала лихая круговерть. И не видать ей ни конца, ни края.

Нехай — человек бывалый. И не из таких передряг выбирался. Чего только ни доводилось повидать ему в своей крестьянской жизни?! И сейчас он мужицким своим чутьем знал наверняка, что бы сделали его и дед, и отец, попав в таковскую переделку.

Закопав мальчишку в прихваченное на корм Воронку сено, дед спешил я, чтобы не унесло его, сухопарого, на край света, обвязав себя вожжами, принялся скидывать накряченные на сани бревна. Дело спорилось: ломать, как известно, не строить. К тому же, буран с великим рвением пособлял Нехаю: подхватывал и раскатывал дрова по непроглядной свирепой пустыне.

— Пожил — восьмой десяток разменял, — приговаривал дед, — а Ванюшку, конечно, жалко... У него, сердечного, вся жистюшка тока-тока налаживается.

Воронки отказывались тянуть даже пустые сани. Встречный ветер подсекал его и валил с ног, хлестал, словно кнутом, по морде, застывав бешеные, навывкате глаза.

Стыла кровь от вида расшвирипевшей зимней стихии, затмившей весь белый свет. Нехай, цепляясь за оглоблю, дотянулся, схватил коня под уздцы и, развернув его по ветру, потянул за собой. Сколько они так прорывались сквозь непреодолимую мятежную стену, а может, и вовсе — стояли на месте, и буран сам, своею могучей силой, носил их по раздолью, старик не ведал — потерялся во времени. Час ли прошел, пять? Ночь ли еще верховодила или разродилось непроглядное чудовищное утро?..

Как же кляла себя Ниловна, что отпустила по зимнему пути за столько верст малюго внучонка.

За стенами гудел ураган. Не зажигая света, в отблесках лампадки бродила старушка из угла в угол, терзалась, не находя себе места.

— Да что ж я, разэтакая, натворила? Сгибли сердешнаи! Как же я ответ стану перед Ниночкой за внучика держать? Дак и деда жалко... Как не пожалеть? Почитай, полсотни годков бок о бок тремся... Убить меня, старую дуру, мало!

Истерзав вдоль и поперек свою душу, Ниловна то принималась голосить на всю хату, то падала перед Пресвятой на колени, неистово шептала: *«Путь и истина сый, Христе, спутника Ангела Твоего рабом Твоим ныне, яко же Товии иногда, послы сохраняюща, и невредимых, к славе Твоей, от всякого зла во всяком благополучии соблюдающа, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче. Аминь».*

Хоть и не из робкого десятка был старый Нехай, а только и у него того гляди упало бы сердце, нет, не от холода, а от великого, всеразрушительного страха, если бы, наконец, Господь не смилостивился над ним, а скорее всего, пожалел он безвинную душечку, внучонка его Ванюшку.

Куда их вынес страшенный ураганище, Нехай сразу и не догадался, об этом он узнал только на другой день, а пока, уткнувшись в громадный омет, который даже такому бурану не достало сил разметать, дед несказанно обрадовался. С горем пополам завел он в маломальское затишье Воронка. И из последнего духа, в разраставшемся с каждой минутой буране, принялся обустривать спасительную берлогу. А потом, затащив вовнутрь ее полуокоченелого Ванюшку, не отвязывая от пояса вожжей, завалил соломой лаз. Буря бесновалась и беспредельничала еще очень долго.

К рассвету стихия заластилась-заластилась, будто нашкодившаяся псына, а потом и вовсе улеглась. Когда отогревшийся в стогу Нехай, накормив ожившего внука, выкарабкался наружу, ахнул: ни путей, ни дорог, сплошная белокипенная равнина — ни ям, ни оврагов, ни лоцин.

— Ну что, внучок, — кивнул он выглянувшему на вольный дух Ванюшке, — не пора ли до хаты? Вишь ты, куда нас куролесица-то завинтила: верст десять влево забрали, хочешь верь, хочешь нет, аж на муравском поле, под Должонками очутились. Во-он, видишь, за лесочком дымы столбами — Старо-Гнездилово. Подыдемся мимо него вверх вдоль Кромы, глядишь, к обеду и у себя. Ниловна-то наша теперя места себе не находит из-за нас, распропавших.

— Деда! А калину-то я сберег! Корзинку в санях под соломой прикопал.

— Ай да молодчина! Значит, все ж таки быть к завтраму пирогам!

ЗАБЫТАЯ ЗИМА

Сегодня семнадцатое декабря. В народе день этот кличут Варвара Зимняя, Заваруха. Но с самого утра погоды стоят ясные, мягкие, солнце лупастит всюю, минус три, не больше. И не понять, зима ли на дворе, поздняя осень ли? Смешались в наших срединных землях времена года, настоящей русской зимы с трескучими морозами, с сугробами выше крыш, почитай, уже с десятков годов не доаукаешься, днем с огнем не сыщешь.

Правда, припомнилось: несколько лет назад, совершенно неожиданно-негаданно, уже через неделю после Покрова, не дотерпев, когда «Варвара станет мосты мостить, Савва гвозди острить, а Никола прибывать», шибанули такие бесснежные холода, что за одну-единую ночушку вся округа обмерла в оцепенении.

Скажешь слово, а оно блямс серебристой ледышкой оземь, и вдрызг, и на сотню мельчайших осколочков. Хлопнешь в ладоши, топнешь валенком — ахнут скованные небывалой стынью, перемерзлые до самых сердцевин дерева — и хрясть стволы надвое.

Как под Покров припудрило чернотроп мало-малешки, всего ничего, на вершок, так вот уж и декабрь покатыл, а ни тебе порошины, ни самой хлипенькой метелицы. И дни все каляней и каляней. В сенцах, чего никогда не бывало, даже разорвало льдом ведерки с ключевой водой. А градусник, чокнувшись, — дивись не дивись — к заре стал выдавать позабытые в наших краях температуры.

В трубу упала почти заоченелая птица. Видать, гнэздилась, бедняжка, поближе к теплушку, гнэздилась, пристраиваясь на краешке, и обмерла, не дождавшись, когда повалят в безветренную стынть колечки березового дыма, бухнулась прямо во вчерашнюю золу. Ее смазали гусиным салом, завернули в ветошку — побитую «шашалом» пуховую шаль, посадили в картонную коробку, а чтоб птичке легче дышалось, прорезали дырочку. Обустроили, значит, бедолаге жилье и задвинули этот птичий домик в непростышную с вечера печурку, вынув из нее целый ворох теплых суконных носков и вязанок.

Тревожнее всего крестьянскому сердцу было видеть почти неприкрытые, голые поля. С осени они так радовали глаз своей густотой и мощью, а теперь никто не ведал, чем обернется хлебам это лютное, морозное бесснежье. Выдюжат ли, очнутя ли зелена, когда вдарит свою песнь в апрельском поднебесье залиvistый жаворонок?

А тут вот еще беда — не дотянув и до Николы, не то что до травки, как ей в то верилось, померла бабка Кирзачиха. Измаявшиеся «копальщики», возвращаясь с погоста и перекуривая с отцом на бревне у наших ворот, серчали на старую: мол, и угораздило ж ей преставиться в эдакую жуткую холодрыгу? И костры-то они палили, и баллоны жгли, сколько солярки извели! — ну тебе ни в зуб ногой — земь промерзла, почитай, на аршин с гаком.

Слава Богу, стояло полнейшее безветрие! Иначе бы и вовсе не было спасения — воздух настолько жгуч, словно в знаменитый на весь хутор хренодер деда Свистуна подбавили перестоявшегося сливового уксуса помершей бабки Кирзачихи, вот какой лихой обжился в полях и на мужицких подворьях воздух.

Ребятишки хворали вповалку, и учителька, объявив карантин, водрузила амбарный замок на двери начальной школы. Правда, возвращаясь

испелось, ужаснулася: «И куда только родители смотрят?» Мишкина гора кишмя кишела малкосней, приползали ее, чуть припорошенную, дочерна. «Вот и жалею их после этого!» — сердчала на детвору и их «безответственных» домашних Мари Ванна.

А ведь ей ли не знать, не ведать ребячьей натуры? Никаким самым страшным морозом не удержать их сейчас дома. Ну разве что привязать вожжами к печке?

И промерзлое солнце льется красно, ему тоже нипочем — щеки что перезрелые помидорины. Укатается, исползает вместе с детворой холмы да пригорки и уронится до завтра отсыпаться в ржаные скирды гавриловского поля. А на его место объявится да тоже да-а-вай перекатываться с пригорка на пригорок, с горушки на горушку луна, белая-пребелая, слегка ущербная, будто надкусанный нашим шkodным котом Кис Кисычем кружок замороженного топленого смальца.

На Кроме заковало напрочь все омутки, даже от проточной полыньи под Облогой след простыл. Ни гусям-уткам почебурахаться, ни белье располоскать, ни рыбки зацепить. Обустроивая проруби и купальни для птицы, лед выпиливали огромными крыгами, растаскивали их на санях подалее в стороны. Мальчишкам только на руку — готовые ледяные крепости.

Заглянешь в сарай — от коровьего стойла пар валит. Лыска жует и жует беспрестанно, греется. Воронок тоже жует, и овцы жуют. Набитый сеном еще с июля под самый завяз огромный амбар уже наполовину пуст, подъелся за бакшой и стожок гречишной соломы. Как не положить скоту в ясли корма, под бока соломки? Жалко, холода-то стоят лютые. Растянуть бы запасы до Сретенья, а там, глядишь, и до подножного корма рукой падать.

Правда, чердаки сараев и амбаров еще полны душистого сена. В нем, если откинуть верхнюю шапку, слоями уложены с осени яблоки. На банном чердаке — крупнющие, с мужицкий кулак, штрифеля, а в старом омшанике — пепины да антоновки. Промороженные, сладкие да сочные, они хоть для ребятешек, хоть для взрослых — одно объеденье.

Даже в такую знойкую, неласковую пору природа великолепна. Стояли алые, опушенные искрящимся инеем дни, короткие, с мышинный хвостик. Все истосковались по снегу, по чистому раздолью, по санному скрипу, по упрямым красногрудым птицам-снегирям, которые никак не желали прилетать по бесснежью.

Вот так же в засуху, бывало, томится-томится мужичок по раскап-ризневшемуся дождику, уж и терпение-то у него лопнет, и нос-то он повесит, вовсе закручинится, а тут вдруг нежданно-негаданно, невесть откуда набегут, налетят, раскучерявятся облака, и шуманет такой ливень, что уняться сможет лишь через пару дней.

Так получилось и со снегом. Уж и жданки все переели, решили, было, вовсе снег не объявится. А что? Может, взял да просыпался махом весь до последней крупиночки где-нибудь за тридевять земель, в сибирской Сибири?

Но однажды к полудню серыми штапельными лоскутами вдруг стало застилаться небо, мороз упал, почти его не ощущалось. Воздухи стали мягкие, даже чуть влажные. Дохнуло юго-западным, и из Сизого овражка полезла выпирать, пучиться, разрастаться, пока не заволокла полнеба, огромная снеговая туча. Когда же эта застиранная тряпка накрыла

собой все небеса от края и до края, ветер, подгонявший ее, выполнив свое дело, обмяк, а потом и вовсе сник.

Зато для снега уже не было удержу. За каких-то три часа сровнял все ухабины и шершавины. Ниспадал отвесной стеной и еле слышно шуршал, будто пересыпали из ладони в ладонь сухой речной песок.

А потом и вовсе пошла такая заваруха! В крошечной тишине на хутор с его притихшими избами и подворьями, на высеребренную тополиной листвой околицу, на раздетые донага леса и рощи, на ровно остриженный бобрик опустелых полей повалили тяжеленные кипенно-белые хлопья. И, полегчав, грязная туча становилась все чище, все светлее.

Есть что-то заманивающее и завораживающее в таком густом снегопаде. Поддевшись, я вышла на косогор, отсюда, с его верхотурья, открывалась вся приречная долина, хуторские пожни, боры и перелески. Зачарованная, всматривалась я сквозь эту шелковую шуршащую снежную занавесь в едва проглядывавшие заречные дали. Небеса разверзлись, и снега шли и шли потоками на согнувшиеся под грузными шапками низинные тальники, на потонувший в белизне хутор.

Из-за снегопада сумерки затягивались. Казалось, само время просыпалось сквозь прорешетившиеся небеса, и не было никакой возможности его остановить или хотя бы нащупать грань перехода сумерек в долгий, теперь уже по-настоящему зимний, вечер.

Но когда то тут, то там сквозь молочную пелену замаячили огоньки хуторских хат и от окошек бледно-желтые пятна упали на запорошенные палисадники, округа провалилась, ухнула в крошечную темь.

Весь вечер напролет, сидя за чаем, а потом, завернувшись в старую белокрайку, читая у полыхающей печки, слушала я, как кто-то шустрый и неугомонный хозяйствовал, шебаршился на подворье: шуршал, пересыпая то соль, то сахар из мешка в мешок. Подумалось: «Авось, за ночь уляжется! То-то отрадно будет пройти по первопутку!» Уснула, будто в сугроб провалилась.

Очнулась, когда отец поутру загремел у печки охачкой поленьев. Захотелось посмотреть, что стало с подворьем, после того как похозяйствовала на нем зима, выбивая и перетряхивая половину вчерашнего дня и всю прошедшую ночь свои пуховые перины и подушки.

Снегопада как не бывало. Лишь изредка спланирует на лицо и тут же испарится какая-нибудь припозднившаяся снежинка да шмякнутся с выпрямившейся кленовой ветки не удержавшиеся рыхлые комья. Хоть градусник стойко держался на пятнадцати, мороза не чувствовалось.

Атласный воздух ласков и мягок. И такая тишина, что даже скрипом валенок жалко ее нарушать. И топтать эти на совесть сработанные, выбеленные холсты тоже не хотелось. Но по первопутку уже проторились тоненькие стежки: от крыльца до сараюшек и амбаров, к Тузиковой конуре, к поленнице, до ворот.

Проснувшийся еще до свету хутор скрипел молодыми снегами, протяжно мычал и залиристо лаял, коготал и курекал на все лады. Дотапливались печи, хлопали калитки и воротины, то тут, то там по соседству слышались здоровканья.

Тонко пели полозья саней, пробиравшихся вдоль занесенного проселка, где-то вдалеке в голубой темени, прокашливаясь и чихая, уже тара-

рахталт трактор. Над Поповкой, за церковью, тонкой ситцевой тесемочкой обозначилась заря.

И пока я, обивая снега, топотала на крыльце валенками, скоргыкала по ним бурьянным веником, пока, скинув отцовский собачий полушубок, чебурахалась у рукомойника, перемерзлой калиновой ягодкой раннее декабрьское солнце уже покатилося по чистому раздолью хуторских полей.

Сквозь запотевшее кухонное окошко, смотревшее на восток, заглянулась, просыпалась перламутровая пыль. Радостней и задорней разгулялось, загудело в не прикрытой заслонкой печи. Высветляясь, стала все четче проявляться житейская утварь: большой выскобленный стол, на нем, посередке, накрытый клетчатой тряпичей кубан, престарелый резной буфет со стопками тарелок и мисок, с графином смородиновки, с еще бабушкиной выщерблиной по самому краешку глиняной солонкой.

Наконец, когда в самом темном углу проступила липовая книжная этажерка с выбитым ризелье на крепко накрахмаленных ситцевых салфетках, сквозь дырчатые тюлевые занавески в комнату хлынуло звонкое, солнечное и нестерпимо яркое декабрьское утро.

Отрада, нега и уют переполняли сердце, но в то же время ликующая, первозданная гладь за порогом манила, будоражила, не позволяла усидеть на месте.

Распахнулась форточка, дохнуло морозной свежестью.

— А не пробить ли дорожку к роднику? — под окном, тоже чему-то радуясь, с двумя фанерными лопатами стоял отец.

НЕУВЯДКА

Много имен, на дух не приняв французское название «иммортель», дал русский народ этому цветку, скромному, как и сама крестьянская судьба: бессмертник, живучка, сушица, наконец, неувядка. А еще, к примеру, в отличие от южного греческого «солнечное золото», на неласковых, северных просторах окрестили его, соблюдая нашенские традиции, совсем уж по-свойски «мороз-трава». Иногда из-за нежных бархатистых лепестков его кличут «кошачьими лапками».

Мне этот незатейливый цветик памятен с самого нежного возраста. Люлька моя в ту пору раскачивалась вдоль крошечной горницы, недалеко от бабулиной божнички. На ней вместо дорогих серебряных окладов на простеньких иконах прижились венчики из неувядающей живучки, красота которой не облетала, не рушилась даже в зимнюю стужу, когда мороз расшивал чудесными серебристо-ледяными листьями и бутонами окошки нашей хаты.

Как же влекли меня, несмышленную малышку, ярко-алые, оранжевые, лимонные и желтые цветики, как хотелось до них дотягаться, подержать в ручонках это дивное диво! Но строгая бабушка, окропив божничку, а заодно и бессмертники крещенской водой, прозывала их богородицыными цветиками и не позволяла никому, даже своей любимице внучонке, прикасаться, а не то чтобы отдать их на детскую забаву.

Спустя время обнаружила я, что неувядку почитали не только в нашем доме. И соседи этим неосыпающимся великолепием изукрашивали Красный угол, обряжали многочисленные семейные фотокарточки, даже почетные грамоты, которые, как теперь живописные полотна, в пору моего детства зачастую развешивались по стенам деревенского жилища.

Заботные хозяйки выстилали днища своих сундуков этой чудной травой — проверено веками: где она лежала, там моли отродясь не водилось, боится она неувядки ничуть не меньше нафталина. Веками цветок этот не покидал стены крестьянских изб.

Был в наших селениях и еще один замечательный обычай. Как вставляли в избах к Покрову вторые рамы, так укладывали внутрь, в межрамье, на подоконник яркие подкрашенные цветы бессмертника. По подворью шастает вьюга, стынть трещит в деревьях, носу за порог не высунуть, а на оконца наперекор всей лихости — цветочные поляны. Бейся, кусайся, зимища, — не страшна им ни лютость, ни стужа, видать, именно оттого и прозывается у нас цветок этот мороз-травой.

Убранство бессмертником подоконников — дело неудивительное. Ведь в народе нашем испокон веку жила глубокая потребность в обихаживании, украшении быта. Неотступная тяга к красоте породила и кружевной промысел, и алые паруса русских ладей, и замысловатую резьбу наличников, и многоголосую вязь хоровых песен.

У нас в палисаде из года в год произрастали (видать, самосевом) крупные, с пятак, «городские» неувядки. Но неизменно, как подступится август месяц, на Пантелеймона, ранней ранью, усадив меня в плетушку, в нее же — «вузлячок» с бутылкой молока да анисовой лепешкой, бабушка громоздила поклажу на спину и топала с ней за дробеньким бледно-желтым простушкой-бессмертником на заполоненный молодым подросенником Косорецкой бугор. Крутолобился он по правую руку от Гороней, аккуратно над поросшим высоченным белоусом пескариным ручьем. Час туда, час обратно.

Бессмертники живут дружным семейством, поодиночке их редко-редко когда встретишь, все кучкой норовят. Артель их издали заметишь — сотни пышных круглых золотисто-солнечных венчиков на длинной бледной мохнатой ножке. Словно выпали из запрятанного в вершине сосны птичьего гнездышка, просыпались вдруг нечаянно по недогляду какой-нибудь беззаботной славки желтенькие, неоперившиеся птенчики.

Как распусятса крошечные соцветия, напитаются восковым смоляным духом, так и не гаснут жарким солнышком на фоне боровых сизых да малахитовых мхов ни день, ни недели, ни месяцы. Вьются, бегают по ним в радости всякие-разные мураши да блошки.

Бабуля, ведавшая, как мне кажется, все на свете о целительных травах и кореньях, благоговела перед неувядкой и держала ее на особом счету. А как иначе-то? Ведь еще в дремучей древности русичи наделяли ее сверхъестественной силой. Наши пращуры не сомневались в том, что душа умершего переселяется в этот необычайный цветок, чтобы передать близким свой последний поклон.

Иногда на Руси цветок бессмертника называли нечуй-ветер и искренне веря преданиям: мол, слепым помогает он открывать заклятые клады, сыскав неувядку (нечуй-ветер), а с ней водосбор, цветущую папороть да разрыв-траву (без нее-то уж точно дело не сладится!), в ночь на Ивана Купалу устремлялись разгуливать по округе, покуда не появится резь в глазах. А как случится ожидаемое, на великую радость, так не сойди с того места, принимайся копать, клад у тебя полеживает прямо под ногами.

Много увлекательных легенд и историй о бессмертнике бродит по белу свету и по сей день, но для меня остается самым дорогим стародавнее ска-

знание, родившееся еще во времена татаро-монгольского нашествия. Уж и не припомню, от кого узнала и когда оно запало в глубины моей памяти.

Вероятно, бережется оно в родных местах из-за того, что Кирово-городище наше древнее-предревнее, аж четвертый век нашей эры! А чем черт не шутит? Вдруг события эти случились с какой-нибудь кировской Авдотьей? Имя-то уж очень частое в Кирово-городище еще с незапамятных времен. А что татары подступались, и не раз, к одному из сторожевых постов Засечной полосы, Кирову-городищу, так о том кому ж в наших краях не известно?

Так вот. Давно это было, в ту пору, когда на Русь хлынули орды злых ворогов, когда не просыхала она от горячих слез вдов и сирот. Попали во полон к Батыю вместе с другими воинами у русской женщины Авдотьи любимый муж, единственный сын и кровный брат. Любила она всех троих пуще жизни. И так прикидывала, и эдак, хоть бы одного удалось спасти, вымолить у нечисти, но кого из троих? Маялась-маялась и придумала. Решила: «Замуж выйду — муж будет. Будет муж — сын народится. А брата мне уже нигде не взять». С этими словами и ударилась она в ноги хану-завоевателю.

Подивился Батый речам мудрой женщины. Сорвал первопопавшийся под руку цветок, не ведая, во что он может превратиться в руках бесстрашной женщины от безмерной любви к ближнему от гнева к порабителю, от печали за судьбы полоненных соплеменников. И говорит лукаво хан Авдотье: мол, милость моя безмерна, вот награда за премудрость твою: иди по моему стану, уводи, пока не завянет этот полевой цветок, без выкупа всех подряд, кого пожелаешь.

Долго ходила по орде Авдотья, а цветик тот заветный не только не угас, не повял, а вопреки Батыевой коварной задумке, с каждой минутой наполнялся великой силой, становился все краше и краше, пока не стал бессмертным. Так мудрая русская женщина не позволила сгинуть во вражеском плену многим своим собратьям. А цветок тот степной с тех пор нарекли бессмертником.

Может, оттого что бабуля помнила о травке этой все были и небылицы, набирали мы ее всегда корзину под завяз (да к тому ж вдобавок старушка моя, бывало, не преминет для какой-то одной ей ведомой настойки наломать красношляпных мухоморов), и, чтобы не помять добыток, обратно из бора возвращалась я уже своим ходом. Хоть и уставала, придерживаясь за бабулин подол, «просеменяв пехом» версты три с гаком, но зато как же дожидалась я той минутки, когда, маленько передохнув, подстелив тряпичные домотканые кружки, усаживались мы с бабушкой на прикрылечные ступеньки перебраться, повязать бессмертники в пучки-букеты, завить свежие венчики, чтобы приладить их вместо напрочь поблекших.

Зисою, под Васильев вечер, отбросив мотки пряжи, бабушка встрепеналась и тоже отправлялась в сенной амбар и набирала охапку неувядки, а потом к Рождеству и к Велику дню, подобрав юбки, с оханьем взбиралась она на табуретку, бережно снимала постаревшие, поседевшие со временем (совсем как человек!), цветы бессмертника с божицы и «подновляла на радость заступникам». А подкрашивала она сухоцветы не чем иным, как теми же самыми красками, которыми выпестряла мотки овечьей пряжи.

Красители испокон веку бабы наши изумудрялись востожить сами.

Дело-то нехитрое. Залей, к примеру, дубовую кору кипятком, дай настоиться. Вот тебе и желто-оливковый цвет, поднаберись терпения, выдержи подольше — изготовишь все оттенки, вплоть до глубоко черного. Бери да крась хоть нитки, хоть ткани, хоть те же самые сухоцветы.

А то накопают деревенские в лугах корней конского щавеля, подкинут в него винный камень, и желтый, что твой одуванчик, получится цвет неувядки. Протрави его железом, так будешь иметь жуковой черный. Синего же цвета, знали, можно добиться, поколдовав с девясил-травой.

Но самыми яркими, самыми любимыми красками всегда оставались те, что сделаны были на водной вытяжке зверобоя: хочешь зеленый цвет — получи, хочешь желтый, и этот можно из него состряпать, а подкисли отвар, да прокипяти, так и бери крась под Пасху яйца. Будут твои крашенки и бордовые, и алые, и розовые, и красные.

Хоть и нет в неувядке пышной царственности иван-чая, но любят и почитают ее у нас, несмотря на скромность, ничуть не менее самых роскошных цветов. У каждого из них есть своя мера жизни, но все равно невероятно короткая. Цветы, это божественное чудо, к сожалению, смертны, как и люди. Ну, день, ну, неделя... и поник, и не осталось от него на свете даже малого следочка. Другое дело — неувядка! Именно благодаря своей стойкости и бессмертию так памятен и любим этот цветок.

НАСТЕНИНЫ «АНТАРКИ»

Грешна, ей-богу, грешна! Каюсь: повязало меня по рукам, по ногам одно пристрастие. И чуется мне: влипну я из-за него в какую-нибудь историю. Судя по недавним событиям, все прямоком к этому и идет.

Дело в том, что нащукала я за свою жизнь по разным чердакам-чуланам немалую кучу всяческой древней всячины: утюги, прялки, скалки, самовары, кринки, поварешки, ручки, лампы... Всего и не перечтешь. Знаю, как любой заядлый собиратель, остановиться теперь уже вовек не остановлюсь. Прямо напасть какая-то на меня навалилась. Вот и этим летом подвернулся мне случай.

Почитай, годков эдак с пять, как опустела у нас на хуторе Настенина хата. Помнится, преставилась баба в ночь под Ивана Купалу. Чин чином спровадили ее соседи на погост, кто пожалковал, а кто и не очень. Помянули, конечно, расставив на ее подворье столы, не без этого.

Может, потому, что наследство у Настены невеликое — вросшая в землю хатенка да саманный сарайчишко, ни родичей, ни мало-мальски близких у бабы не оказалось. Сыскали горбыль — до лесу-то шаг ступить, как не сыскать? — заколотили им крест-накрест двери-окна, и Настены как вовсе не бывало.

И стала я примечать: засиротевшая хата с каждым годом все лише приседает в лопушняк. Нынешним летом дошло уже до того, что пронырливый репей пролез сквозь проевшиеся крылечные половицы и пустился в цвет, а вдоль крыши, меж обвалившихся стропил, ему вдогонку выколосился дурнопыан.

Вот и надумалось мне как-то наведаться в эту дремь. Боязно, но будто бы кто подталкивает, так и нашептывает, нашептывает на ушко: «Чем черт не шутит? Вдруг сыщется в Настенкиной хате то, чего вовек тебе нигде и никогда не раздобыть?»

«Ну и ладно, — порешила, — так тому и быть, только на всякий пожарный надо бы хоть дочку с собой прихватить, все не так боязно».

Уболтала ее на часок отодвинуть холсты-краски: мол, века нашенские долы да угоры вокруг хутора недвижимо возлежали — куда за это малое время сдвинутся? Хоть и не дюже резво, а все-таки сманилась моя художница, ведь и сама до старины охоча.

Пришли, значит. Подворье от калитки до крыльца — в чертополохах выше головы. Идем гуськом, я — впереди, прокладываю палкой наотмашь стежку, позади меня, всписывая и шарахаясь от крапивы, — дочка Анюта.

С горем пополам отодрали горбыль. Изъеденные временем, густо устланные мхом, крылечные половицы чуть дышали. Распахнули мы санные двери, кое-как, согнувшись в три погибели, пробрались в их пропахшую прогорклой сыростью сутемень. Свет из единственного окошка перекрывал куст задичалого терна. На корявых ветках его, пролезших сквозь расколотые шибки окна, от пронырливого сквозняка покачивались седые бороды пыльной паутины.

Пуки трав, березовые и дубовые веники, рядками развешенные вдоль проконопаченных паклей стен, изумрудились от плесени.

— Слава Богу! — возрадовалась я. — Хорошо, что прихватили отцовский фонарь. Без него в этой халупе и шагу не сделать.

— Давай-ка, пока не поздно, назад, — запротивилась было дочка, — пусть в чулане у тетки Насти хоть кудеяровский клад запрятан, чует мое сердце: не к добру мы сюда завернули.

Как только луч света забрызгал по стенам низенькой горницы — оконца вровень с землей, могила, да и только! — местная шустрая нечисть — армады мышей и разномастных козьяков — ринулась в панике во все стороны, с истошным писком зашныряла под ногами, разбегаясь по щелям и норам. Ослепнув и потерявшись от резанувшего поверху света, отвратительно засвистела и, задевая нас крылами, в дальний угол, в самую глухую глушь, рванулась пара летучих мышей.

— Где там у нас лампа? — ободряюще чиркнула я спичками и, подхватив из дочериных рук керосинку, установила ее на пыльной столешнице. Аня, с малых лет шарахавшаяся от любой повстречавшейся блошки, казалось, оцепенела, и мне, подбившей ее на эту жуть, ничего не оставалось делать, как задорным голосом молоть всяческую отвлекающую дребедень.

Уж и не помню, какой я там ее, бедняжку, чужью развлекала, только спустя некоторое время, когда потревоженная мелкота, наконец, притаилась и затихла, мы пообвыклись и с немалым любопытством при тусклом свете лампы принялись осматриваться.

Нашим взорам предстало немудреное Настенино жилище: на полгорницы с чугунами-ухватами печка, напротив — Божья долонь — повидавший виды дубовый стол. Несколько покрытых густым слоем пыли табуреток, да под окнами — такие же чумазые, с порушенными мышами-молью домоткаными полавочниками, скамьи.

Выпалили поярче фитиль. В свете лампы на изъеденной «шашалом» полке проявилась куча мала всяческого посуда, незамысловатого, но без которого в хозяйстве ни за какие коврижки не обойтись. Раскружавленные паутиной, припудренные не одним слоем пыли, давным-давно впавшие в беспамятство, подремывали глиняные кубаны и махотки, присоседившись к ним, дотягивали свой век бутылки и склянки какого-то удивительного — буро-карего стекла. За годы горького сиротства в них выстоялась такая гремучая смесь, что теперь уже опас-

но было приоткрывать с них крышки, вытыкать из их ядовитых горлышек пробки.

На довольно большом полотне — пять вершков в ширину, пять в высоту, — что примостилось меж лицевых окон на заплесневелой, с осыпавшейся штукатуркой стене, под расшитым дробненьким крестиком полотенцем неожиданно совершенно явственно просматривалась моложавая женщина незаурядной красоты.

Прозеленилось полотенце, изничтожилась рама, но лицо красавицы — а в ней без особого труда была узнаваема сама Настена — не только не облиняло, не покорибилось временем, наоборот! — из-за ее пронзительного взгляда казалось живым.

И неудивительно было бы, если бы отродясь задиристая и своенравная Настена, тряхнув своими дивными, длиннющими до плеч, янтарными сережками вдруг с укором вымолвила: «Ну? И чего приперлись-то? Чего без спросу по чужим хатам шастаете?»

Ее пронзительный взгляд манил и притягивал, правда, в то же время какой-то пронизывающе-холодный блеск его заставлял отступить как можно дальше. И еще! Что за чертовщина? Хозяйка избы безотрывно следила за нашими перемещениями вдоль избы. Куда бы ни отступились мы от портрета, Настена вослед нам устремляла свои пылающие глаза, стараясь не упустить нас из виду ни на минуту. И правда, влипли!

А тут еще половицы! Слово живые, они, шаг в сторону — зашевелились, еще шаг — и застонут, заголотят впричеты. По стенам зашныряли какие-то лохматые, безобразные тени. В кишачих замогильным мраком углах снова кто-то зашуршал, зашущукался и заперепискивался, все настырнее давая знать, что мы не одни, все лише желая показать нам, пришлым, кто в Настениной хате хозяин.

За окнами еще полчаса назад ясное пролетье, не предвещавшее никаких напастей, отчего-то вдруг накуксилось, и ни с того ни с сего, в мгновение ока, захолустное подворье ухнуло в беспросветную, кромешную ночь.

То ли рыкнув от привкушения чего-то, ею давно поджидаемого, то ли злобно хохотнув, тяжело дыша, осклабилась, клацнула запором, словно зубами проголодавшаяся хищница, сырая щербатая дверь. Подтягивая, поддакивая ей, заподпрыгивали, задрезжали на полках миски-плошки.

Жутью, кладбищенской погибелью, могильными пропастями в отсветах керосинки почудились бездонные оконные глазницы. За ними плас-тался ветер. Непогодь на всю ширь развернула свои вороненые крыла. Сквозь провалы в чердаке, навзрыд, словно по кому-то очень родному, надрываясь, голосил дождь.

Женского терпению больше не хватало, как говорится: пора делать ноги. Ой, как пора-а!

Но то ли любопытство взяло верх, то ли что-то не подвластное человеческой воле удерживало нас в этой «нечистой» хатенке, не позволяло покинуть ее до тех пор, покуда не поведаст она, уставшая от своих тайн, столько лет в одиночку хранимые ею от всех на свете Настенины секреты.

Плеснув из керосинки на будто для нас сложенные в печи поленья, разожгли огонь.

Может, оттого, что мы, вопреки окружавшим нас страстям, не сбегали, стены хижины заиграли теплыми отблесками, на подворье так же внезапно, как и началась круговерть, объявилось затишье.

Покуда я хлопотала у печи, дочь, тоже потихоньку успокоившись, принялась обследовать Настенино жилье. К сожалению, ничего примечательного, что могло бы пополнить нашу коллекцию старинных вещей, не обнаружилось.

И только под самый конец, обследовав сантиметр за сантиметром избенку, когда перевернули содержимое огромного кованого сундука: не про будний день изукрашенные рюшеле занавески и скатерки, ненадежные подшальки, штапельные да ситцевые отрезки, а когда добрались до самого донного доньшка, все-таки повезло! Да еще как! В потаенном месте, под кучей всяческого скарба, Настена, как мы и надеялись, зная «бабские похоронки», в крошечном «вузелочке» сберегала самое дорогое ее сердцу.

Души наши распирало от любопытства: что же может находиться в этом любовно расшитом диковинным орнаментом платочке?

Развязали и ахнули: «Да это те же самые «антарки», в которых Настена красуется на портрете! Да-да! Вот на левой сережке не достает на свисающем до плеч полукружке камешка — самой малой капельки».

Женщины во все века остаются женщинами, а значит, модницами-нарядницами. Ну, какую не соблазнит примерить или хотя бы приложить к ушкам такое старинное диво? Поднесла их дочка к огню, как же загорелись в сережках, излучая мягкий, ласковый свет, окатные янтари, какими переливами запереливались напитанные солнцем, дробные — с горошину — и крупные — с лещинку — камешки.

Обрадованная находкой, кинулась Аня к зеркалу. Только поднесла сережку к уху, глядь, а из растрескавшегося, раскружавленного паутиной зеркала смотрит на нее, усмехается Настена. Не успела дочка ойкнуть, как та, четко-четко, будто и впрямь стояла напротив, вымолвила: «Не смей! Триста лет, как мои это антарки!»

Аня с перецугу на том же месте и выронила сережки из рук.

И тут же легчайшая тень метнулась к дверям, послышалось, как в сенях кто-то горько да жалобливо всхлипнул. И только все стихло, как заходили вдруг ходуном, засотрясались стены хаты, западали порушенные потолочные балки. Изба Настены по чей-то неведомой воле принялась рушиться у нас на глазах.

Спohватившись, не до «антарок», мы — ноги в руки — и, не помня себя, вылетели за ворота Настениного двора. Опротетью — домой, двери — на чепок. Нашарохала нас Настена — трое суток слова вымолвить не могли.

Не скоро, правда, но когда страсти-мордасти от нашего гостенья в «нечистой» избе поулеглись, припомнилось как бы вдруг, что на Кривом урынке, на самом краю деревни, докоруется свои немалые годики тетка Луша. Настена вроде, будучи на этом свете, завсегда с ней роднилась. Правда, тетка Лушка не очень-то к ней тянулась. Может, жаба душила рябю Лушку? Сродственница-то, на зависть всем, — сказочной красоты, прям-таки Василиса Прекрасная.

И решили мы поповедать ту тетку Лушу. Вдруг что о «живом» Настенкином портрете знает? Заодно, может, что и о ее житье-бытье прояснится. А чтоб умаслить старушку, прикупили в сельпо для нее расцветастый подшалок. Хоть и одной ногой Луша рядышком с Настеной уже стоит, а прихорохориться все еще любит по-прежнему. Как сама про то говорит: «Бабское отродье! Куда ж от трапешного соблазну деваться?»

Приняла, значит, наше подношение тетка Луша с превеликим удо-

вольствие. Справилась, конечно, за какие-такие дела отдариваемся. А как прознала, о чем любопытничаем, так язык ее сам собой и развязался, удержу нет.

И поведала нам старушка без утайки, а может, по вине немалых своих годиков по большей части и приврала все, что могла, о своей «сроднице».

Вечера-то в Ранетовке под Петровки ласковые, а ночи тихие, задушевные. Присели на крылечные порожки и слушали теткнины рассказы до глубокой полуночи.

А начала она издалека, потому как Настенина тайна пряталась в глубине веков: мол, сказывала Луше ее бабка, что еще при государыне Екатерине, годах эдак в шестидесятых, случился в Ранетовке, какую проиграл в карты помещик Кузяков старшему Шебаршину, случай, в котором не последнюю роль сыграла Лушина пращурка, дворовая девка Настена Ивашкина.

— Господь не поскупился, одарил ту самую Настену со всей щедростью. Мало того, что в молодые лета слыла она на пять деревень в округе первой красавицей, так была еще затейливой сказительницей. Уж у кого она это переняла, от кого этой дели навострилась: от матушки ли своей, от тетки ли какой, кто ж теперь про то ведает?

А только прознал о крепостной своей девке Настенке, о побасках ее складных молодой барин Шебаршин. В ту пору был он в самом цвету. Проживал все больше по чуждеальным краям, по Хранциям-Ерманиям. А тут, на девичью беду, затомновал скиталец (а то, поди, не затоскуешь? — пять годочков в своей Ранетовке глаз не казал!) и прикатил к батюшке в усадьбу, на побывку, значит.

Ну, приехал и приехал. Где он и где дворня-то?.. Но только, поговаривали, была у молодого ранетовского барина закавыка — любил всяческую небывальщину слушать да записывать. Сколько под то бумаги извел! И из заграниции цельный сундук тех-то выдумок привез. Вот батюшкато его, старый барин, возьми да и похвастай: мол, да моя девка Настенка за пояс заткнет любого твоего рассказчика.

Дальше больше... Дошел их спор уж и до того, что коли признает молодой барин, послушав девицу, что она превзошла своими рассказами иноземцев, так побился он об заклад, из имения своего он больше ни ногой. Старому барину это ой как по нраву!

Тетка Луша рассказывает, словно кружева плетет, видать, вся в прабабку удалась. А потому веришь ей на слово, хоть заведомо знаешь: по большей части из того, что накрутила она о своей далекой пращурке, — сказки-выдумки, за-ради красного словца. Веришь, не веришь, и вдруг прикинешь: а что ж тут небывалое? Покопаться, так, поди, в каждом имени сыскалась бы не одна подобная девичья судьбинушка.

Ведет Лукерья свой толк про старину стародавнюю, а сама, правда, не забывает посматривать, не чередит, не озорует ли в каком углу на подворье или в саду шkodная ребятня. Ни один Солнцекараул без того, наверно, еще со времен ее пращурки Настены не обходился.

— Ну и вот... Кликнули, значит, Настенку: поври-ка, мол, девица, власть, — распаляет тетка интерес. — Приделась она, конечно, все ж таки не у себя по двору, по господским залам ступать, и к урочному часу явилась, куды велено.

Уж какие-растакые небылицы неделю кряду плела им девушка, только барин молодой о своих Хранциях и помнить позабыл. Пряма-таки обалдел от Насти, от голоса ее певучего, от стана перегибистого. Правда ли,

нет ли, только сказывали: положи молодой Шебаршин на нее глаз, влип, значит, по самый хоботок. Души в ней не чаял. Даже портрет своей дворовой девки заезжему художнику заказал. И на День Ангела подарил. Ну, так вы наверняка его в засиротевшей хате видели. Пуще глазу берегли этот портрет в Настенкином семействе. Переходя от бабки к бабке, так и довисел он в простой деревенской избе и до наших дней.

Да и продолжу, значит... Что разнесчастной делать, куды кидаться? Крепостная девка — не вольная птаха. А надобно сказать, стукнуло ей по тому времени семнадцать годочков. Самая невеста. И женихов вокруг ей, что шмелей на июньских клеверах, — улыбнулась тетка Луша. — Но сердечушко девичье — попробуй ему прикажи! — екало лишь при встрече с пастухом Прохором.

Время шло. Барин не отступался, а промеж Насти да Прохора вызрела любовь нешуточная. Уж и деревня про то прознала, рази ж от людских глаз сокроешься? А как стало Настеньке вовсе невтерпеж от барских приставаний, скрепилась она духом да бухнулась в ноги молодой жене его: мол, так и так, смилуйся, госпожа, не дозвожь Кузьме Лексеичу, законному супругнику вашему, надругаться над девичьей невинностью.

Барыньке, — что ей до Настены? — о себе впору печаловаться, — по всему видать, и впрямь заболел молодой муженек ее, променял свою барыньку благородную на простушку, девку подневольную. Вот и уговорила она свекра сэво, старого барина Лексея Никандрыча, выдать поскорей девицу замуж. За кого? Да хочь за вдового кузнеца Еремку. Благо, что бездетного.

С девкой порешили, а как быть с ее любушкой Прошкой? А тут и говорить не об чем! И забрали Прохора во солдаты. Это нынче не успел парень за ружо подержаться — уж и в обратку собирайся. А раньше-то — шутка ли дело? — расставаньё ажни на двадцать пять годочков! Попробуй дождись... Бабий век, знамо дело, — что маков цвет, и налюбиться не успеешь, глядь, уж осыпался. Да-а-а... А по ту пору, сказывали, забунтовал мужиков по Руси какой-то лихой казак Пугач. Вот и попал солдат Прошка под его сабельку остру.

Как уж там случилось, но долетела все ж таки весточка об его гибели и до нашей Ранетовки. Жалковала по парню родня, а пуще всех убивалась разнесчастливая Настена. Видано ли, сколько бедствия разом навалилось на ее головушку: и любушки вовек не воротить, и барин Лексей Никандрыч, чтобы потрафить невестушке, стоит на своем, уперся: мол, на Покров венчаться Настене с Еремою. Молодой-то барин, по правде сказать, чуть разуму с тоски не лишился. Имея к Настене свой антирес, пробовал было за нее вступиться, да куды-ы там!

А горемышная девица, хочь и знала, что грех неотмолимый, а только невыносимо тошен стал ей белый свет, дак она, горлинка, и в моток сигала, и всякими другими разными приспособленьями пыталася лишить себя растреклятой своей жистюшки. Но, как говорится: кому утопиться, тот не повесится. Знать, была Настенка у Господа за любовь свою неизбывную на каком-то особливом счету, не дозволил он с девицей смертной смертушке приключиться.

Как ни пытались мы выведать у Луши о дальнейшей судьбе ее древней сродницы, так толком ничего и не разузнали.

Но в подтверждение тому, что все тайное когда-то да становится явным, вот какой удивительный сон приснился мне в годовщину Настениной смерти под Ивана Купалу. Верить ли ему? Нет ли? Только сердцем

чую: сама Настена решилаась, наконец, приоткрыть завесу над ее удивительной судьбой, поведать, чем однажды в ее распостылой жизни обернулась случайная встреча.

И видится мне: будто прохожу я летним вечером мимо Настениной хаты на ключ за водой. Смотрю: стоит, опершись на калитку молодая, в самом цвету, словно только что с портрета сошла, Настена. Нарядная, подшалок цветастый по плечам раскинула, в ушках «антарки» поколыхиваются, в вечерней заре переблескивают.

Окликнула меня Настена, калитку распахнула, к себе манит.

— Заходи, суседушка, слышала: книжки писать навострилась. А хочешь, я тебе поисповедуюсь, судьбину свою, всю, как есть, как на духу раскрою.

Меня даже оторопь взяла: с чего бы Настена так расщедрилась, тайну тайн свою вдруг запросто так выложила?

А Настенка будто мысли мои читает, ожгла меня своим пронзительным взглядом, улыбается, знает наверняка, что не смогу не согласиться.

— Только обещай, что пропишешь потом обо мне в какой-нибудь книжке. По рукам?

Как я могла отказаться? Коромысло и ведерки — в подорожники, сама в слух обратилась.

Присели мы в саду под яблонькой, и повела соседка такой сказ.

— Знаю, знаю, кое-что обо мне успела разболтать тетка Луша. Только не все ей обо мне ведомо. Ну, так вот, значит, уж и совсем, было, помрачилась я умом после Прошенькиной смерти, — повела свое откровение Настена. — Под Успенье, возвратясь от обедни — уж я толковала, толковала в церкви с Боженькой, уж просила-молила понять, простить меня, грешницу, — не доходя до избы, повернула на омуток. Уж и камушек веревочкой сермяжной обвязала, уж и на крут бережок взошла, один-разъединый шажочек осталось ступить, сигану, думаю, и — конец моим мучениям. Но тут, откуда ни возьмись, раздвигаются кусты краснотала, и заступает мне тот крайний шажок старая старушонка. Пригляделась: что за диво? Вовек в нашей округе таковской не видывала. А она — хватъ за камушек, да меня в охажку.

— Это что ж ты, такая-разедакая, удумала? — бранится бабка, а сама боком-боком оттирает меня подале от крутояра.

— Ох, и невмоготу мне, баушка, опостылел белый свет, пусти свершить, что уздумала, — Христом Богом прошу я старуху, а сама рвусь-кидаюсь к обрыву.

Никак ей, маленькой-горбатенькой, не справиться со мной. Вынула она тогда из своих когда-то жуковых, а теперь уже осыпанных густым инеем волос частый терновый гребень и, не спросясь, воткнула его чуть повыше моего накосника.

Тут я, на удивление, вырваться-биться перестала, а как маленько поутихла, всю беду-горе спасительнице своей и выплакала: так, мол, и так, нет мне жисти, рѳдная, теперя без Прошеньки, истерзалось сердечушко от одной мысли, что пойду под венец с разнелюбым.

— Рази ж это горе? — ухмыльнулась бабка. — Не печалуйся, детонька, руками твою беду разведу, не успеешь и глазом моргнуть. Давай-ка присядем, покумекаем, глядишь, чего-нитого и распридумаем.

И снимает старая с плеча котомочку. Вытряхивает из нее всяко-разное бабское на подол, покопавшись, отыскивает крошечный вузлячок. Развязывает его и подает мне на ладони пару красивущих серег. У меня

ажни дух захватило! Вовек я таких не видывала. Были, конечно, у нашей ранетовской молодой барыньки и какие-никакие, а только таких дивных даже она не видывала!

— Баушка роденькая, — заотпихивалась было я, — мне ведь и отплатить тебе нечем.

— А ничего мне с тебя и не надобно, — шамкает старушонка. — Рази что, будь ласкова, проводи меня до расстаней, поднеси мою котомочку.

Зашвырнула я свой горюч-камень в лозняки, серьги-«антарки» — в ушки, и потопали мы на парочку лужком да на горушку, с горушки опять лужком. Идем себе помаленечку, бабулька-то дряхленькая, впору уж и с печи не слезать.

Покуда пожнями да покосами брели, всю жистюшку наперед раскрыла она мне перед глазами, словно карты раскинула.

— Носи, милая, мой подарочек, ни днем, ни ночью не сымай. Пока «антарки» будут при тебе, будешь ты хозяйкой своей судьбы, и никто и никогда не выдаст тебя за нелюбимого. Несчетные годы будут опадать, как листва по осени, а ты будешь всегда оставаться красивой и молодой. А жить ты на этом свете будешь до тех пор, покуда не сыщешь для себя человека по сердцу, пока не родишь от него деток, пока не вынянчишь от них внуков, — молвила бабушка на прощание. Обезжала вокруг лесковочки, что у нас кой годочек кормит путников на расстанях, глядь, а уж и не старушка это вовсе — птичка-перепелочка! Нырь во ржи — и была такова.

— Ух ты! Вот так история, — ахнула я, — а дальше, дальше-то что?

— А и ничего особенного, скажу я тебе, рассоседушка, не случилось. Века протекали чередой, красота же моя не вяла. И никому в деревне было невдомек, сколько же мне, такой раскрасавице, на самом деле от роду. Помыкалась я, помыкалась на этом свете, все пыталась сыскать своего суженого. Только, знать, один-разъединый разочек дается человеку настоящая любовь. Остальное все так, прилюбочки. Я-то ведь после Прошеньки и взглянуть на кого другого так и не взглянула... А как разуверилась в своих поисках окончательно, как поняла, что никогда уже не встретить мне свою распропащую любовь, устала я маяться без своей половиночки, вынула из ушей баушкины «антарки» да за ненадобностью и запрятала их на самое донце сундука.

— А ведь правду говоришь, Настена! Собственными глазами видела я в твоей хате те волшебные сережки! — не стерпела, вскричала я... тут и проснулась.

Но на этом Настенина история не закончилась. На другой день прохожу опять по какому-то делу мимо порушенного Настениного подворья. Виду: кружит над ним сизая горлинка, заметила меня и, словно нарочно, низехонько так проплыла надо мной. Присмотрелась я: а в клюве-то у нее — Настенины «антарки». Удостоверилась горлинка, что увидела я ее находку, и — пряником-пряником в сторону села.

Где обронит она волшебные сережки? Кто их сыщет? Кому еще посулят они встретить нешуточную любовь?

